

ДАГОН

Я пишу эти слова в состоянии понятного умственного напряжения, ибо сегодня вечером меня не будет в живых. Оставшийся без гроша, и даже без крохи зелья, которое одно делает мою жизнь терпимой, я не могу более переносить это мучение и скоро выброшусь из чердачного окна на нищую мостовую. И если я раб морфия, не надо считать меня слабаком или дегенератом. Прочитав эти торопливо набросанные строки, вы можете догадаться, хотя, наверное, никогда полностью не поймете, почему я добиваюсь забвения или смерти.

Случилось, что посреди одной из наиболее открытых и редко посещаемых частей широкого Тихого океана пакетбот, на котором я был суперкарго, пал жертвой германского рейдера. Великая война была тогда в самом начале, и океанский флот гуннов еще не успел достичь тех глубин падения, к которым ему суждено было опуститься потом; поэтому наше судно было объявлено

законным призом, а к экипажу отнеслись с теми справедливостью и вниманием, которых требовало наше положение военнопленных. Победители установили на борту настолько либеральные порядки, что через пять дней после захвата я сумел ускользнуть в небольшой шлюпчонке, захватив с собой достаточное количество воды и провизии.

Оказавшись наконец на воде и в полной свободе, я не имел особо точного представления о том, где нахожусь. Не будучи компетентным навигатором, я мог только догадываться по солнцу и звездам, что нахожусь к югу от экватора. Долгота известна мне не была, а островов или берегов вблизи не было видно. Погода была ясной, и несчетные дни я бесцельно дрейфовал под обжигающим солнцем, ожидая, пока меня подберет проходящий корабль либо прибудет к берегам какой-нибудь населенной земли. Однако не появлялось ни корабля, ни земли, и я уже начал отчаиваться, оставаясь в уединении на неторопливо вздыхающем синем просторе.

Перемена произошла, пока я спал. Подробности ее так и остались неизвестными для меня, ибо мой сон, хотя и тревожный и полный сновидений, так и не прервался.

Когда я наконец проснулся, оказалось, что меня засасывает в адски черную, полную слизи лужу, монотонно колыхавшуюся во все стороны от меня, куда достигал взгляд, а лодка моя лежала на ней, как на суше, неподалеку.

Хотя можно подумать, что моим первым ощущением при виде столь неожиданного и огром-

ного преобразования окрестностей должно было стать удивление, на самом деле я скорее пребывал в ужасе, чем был удивлен, ибо в воздухе и в гнилой почве присутствовало нечто зловещее, пробравшее меня до глубины души. Вокруг валялись гниющие мертвые рыбины, а посреди отвратительной грязи бесконечной равнины торчали и менее понятные останки. Возможно, не стоит и пытаться передать простыми словами ту неизреченную мерзость, которая обитала в этом абсолютно безмолвном и бесплодном просторе. Слух не улавливал звуков, а зрение — ничего иного, кроме бесконечной черной грязи со всех сторон; и все же сама полнота тишины и однородность ландшафта вселяли в меня тошнотворный страх.

Солнце пылало на небесах, уже казавшихся мне черными в своей безоблачной жестокости и словно бы отражавшихся в чернильной болотине под ногами. Перебравшись в оказавшуюся как бы на суше лодку, я подумал, что положение мое способна объяснить лишь одна теория. Какой-то беспрецедентный вулканический выброс вынес на поверхность часть океанского дна, обнажив область его, которая в течение бесчисленных миллионов лет оставалась скрытой в неизмеримых водяных глубинах. И настолько велика была сия поднявшаяся подо мной земля, что, усердно напрягая слух, я никак не мог уловить даже слабого отзвука доносящихся издалека рокочущих океанских волн. Не было видно и чаек, охотящихся за мертвечиной.

Несколько часов я сидел в лодке, лежавшей на боку и дающей некоторую тень по мере того,

как солнце ползло по небу. С течением времени почва потеряла долю своей липкости и достаточно подсохла, чтобы по ней можно было пройти. В ту ночь я спал немного, и на следующий день приготовил себе поклажу из пищи и воды, собираясь в сухопутное путешествие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро я обнаружил, что почва высохла настолько, что по ней можно идти без труда. От рыбной вони можно было сойти с ума; но я был озабочен вещами куда более серьезными, чтобы обращать внимание на столь мелкое зло, и потому отправился к неведомой цели. Весь день я упорно шагал на запад, в сторону пригорка, казавшегося выше прочих на гладкой равнине. Ночь я провел под открытым небом, а на следующий день все еще шел в сторону пригорка, и цель моего пути едва ли казалась ближе, чем когда я впервые заметил ее. На четвертый вечер я приблизился к основанию холма, оказавшегося много выше, чем это казалось мне издали, и отделявшая меня от него долина еще резче выделяла бугор на ровной поверхности. Слишком усталый для восхождения, я задремал в тени его.

Не знаю, почему сны мои в ту ночь оказались настолько бурными; но прежде чем фантастический лик убывающей горбатой луны восстал над восточной равниной, я пробудился в холодном поту, решив не смыкать более глаз. Тех видений, что я только что пережил, было для меня довольно. И в свете луны я понял, насколько неразумным было мое решение путешествовать днем.

Без обжигающих лучей солнца путь не стоил бы мне таких затрат энергии; в самом деле, я уже чувствовал в себе достаточно сил, чтобы решиться на устранивший меня на закате подъем. Подобрал пожитки, я направился к гребню возвышенности.

Я уже говорил о том, что ничем не прерывавшаяся гладь монотонной равнины вселяла в меня непонятный ужас; однако кошмар этот сделался еще более тяжким, когда, поднявшись на вершину холма, я увидел по ту сторону его неизмеримую пропасть, каньон, в чьи темные недра не могли проникнуть лучи еще невысоко подымавшейся луны. Мне казалось, что я очутился на самом краю мира, что заглядываю за край бездонного хаоса и вечной ночи. В ужасе припоминал я уместные строки «Потерянного рая»¹, повествующие о жутком подъеме Сатаны через бесформенные области тьмы.

Когда луна поднялась на небе повыше, я увидел, что склоны долины оказались не столь отвесными, как мне только что привиделось. Карнизы и выступы скал предоставляли достаточную опору для ног, и когда я спустился на несколько сотен футов, обрыв превратился в весьма пологий откос. Повинуясь порыву, истоки которого я положительно не могу определить, я не без труда спустился с камней на ровный склон под ними,

¹ Эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 году в десяти книгах, описывающая белым стихом историю первого человека — Адама.

заглядывая в стигийские бездны, куда еще не проникал свет.

И тут вдруг мое внимание приковал к себе громадный и одинокий объект, круто выраставший на противоположном склоне передо мной; объект, блеснувший белым светом под только что нисшедшими к нему лучами восходящей луны. Я скоро уверил себя в том, что вижу всего лишь громадный камень, но при этом осознавал, что очертания и положение его едва ли были делом рук одной только Природы. Более близкое исследование наполнило меня ощущениями, которые невозможно выразить; ибо несмотря на огромный размер и положение в пропасти, разверзшейся на дне моря в те времена, когда мир был еще молод, я без доли сомнения понимал, что вижу перед собой обработанный монолит, над боками которого потрудились руки мастеров; камень, быть может, знавший поклонение живых и разумных существ.

Потрясенный и испуганный, и все же на самую каплю наполненный восторгом исследователя-археолога, я огляделся уже повнимательнее. Призрачный свет луны, теперь стоявшей почти в зените, падал на крутые стены, заключавшие между собой пропасть, открывая тот факт, что по дну ее в обе стороны от моих ног, едва не касаясь их, простирался широкий водоем. На той стороне пропасти мелкие волны омывали подножие циклопического монумента, на поверхности которого я теперь мог различить надписи и примитивные скульптурки. Письмена были выполнены неизвестными мне иероглифами, непохожими на все,

что случалось мне видеть в книгах; в основном они изображали некие обобщенные символы моря: рыб, угрей, осьминогов, ракообразных, моллюсков, китов и тому подобное. Несколько знаков, очевидно, изображали неизвестных современному человеку морских тварей, чьи разлагающиеся тела видел я на поднявшейся из океана равнине.

Однако более всего меня заворожили высеченные на камне рисунки. Ясно видимые за разделявшим нас водоемом благодаря своей колоссальной величине, располагались барельефы, темы которых были способны породить зависть Доре¹. Думается, что эти фигуры должны были изобразить людей — во всяком случае, некую разновидность людей; хотя существа эти были изображены резвящимися как рыбы в водах какого-то морского грота или же поклоняющимися какому-то монолиту, также как будто бы находившемуся под волнами. О лицах и очертаниях их не стану рассказывать, ибо меня мутит от одного воспоминания. Гротескные силуэты, превышающие возможности воображения Эдгара По или Бульвер-Литтона, мерзостно напоминали людей, невзирая на перепонки на руках и ногах, неприятно широкие и дряблые губы, стеклянистые выпуклые глаза и прочие черты, еще менее приятные для памяти. Забавно, однако, что они были изображены без соблюдения пропорций с их окружением, ибо одно из созданий на рельефе убивало кита, изображен-

¹ Доре Гюстав (1832–1883) — французский гравер, иллюстратор и живописец.

ного всего лишь чуть более крупным, чем эта самая тварь. Отметив, как я уже сказал, гротескный облик и странную величину этих существ, я немедленно решил, что вижу перед собой воображаемых богов племени неких примитивных рыболовов и мореходов, принадлежавших к племени, последний потомок которого сгинул за эры до появления на свет первого из предков пилтдаунского или неандертальского человека. Потрясенный неожиданным откровением, выходящим за рамки воображения самого отважного из антропологов, я стоял, размышляя, а луна рассыпала странные отблески на воды лежавшего предомной безмолвного протока.

И тут я внезапно увидел — это. Оставив лишь легкое кружение на воде, тварь поднялась над темными водами. Огромная, как Полифем, и мерзкая, явившимся из кошмара чудовищем она ринулась к монолиту, обхватила его гигантскими чешуйчатыми руками и, склонив к камню жуткую голову, принялась издавать какие-то размеренные звуки. Тут я и расстался с рассудком.

Я мало что помню о своем отчаянном подъеме по склону и по утесу, и о прошедшем в лихорадочном возбуждении возвращении к оставленной шлюпке. Кажется, я много пел, а когда не мог петь, хохотал, как безумный. Смутно помню великий шторм, разразившийся через некоторое время после того, как я добрался до лодки; во всяком случае, точно знаю, что слышал громовые раскаты и прочие звуки, которые Природа производит лишь пребывая в самом бурном настроении.

Выбрался я из забвенья только в госпитале — в Сан-Франциско, — куда меня доставил капитан американского корабля, обнаруживший мое суденышко посреди моря-океана. Пребывая в болезненном возбуждении, я говорил много, однако понял, что на мои слова никто не обращает внимания. Спасители мои слыхом не слыхали о том, чтобы в Тихом океане понималась со дна какая-то суша, да и сам я не считал необходимым настаивать на факте, в который они просто не могли поверить. После я разыскал прославленного этнолога и изумил его странными вопросами, касающимися древней филистимской легенды о Дагоне, Боге-Рыбе; но вскоре, поняв, что собеседник мой безнадежно банален, не стал рассказывать о своем открытии.

Именно ночью, особенно когда горбатая луна убывает, я вижу эту тварь. Я пробовал морфий; увы, наркотик дарует лишь временное облегчение, но тем не менее он уже сделал меня своим безнадежным рабом. И теперь я намереваюсь покончить с этим, оставив полный отчет для информации или пренебрежи увеселения своих собратьев-людей. Часто я спрашиваю себя о том, не было ли это событие чистым фантазмом... болезненным видением, порожденным лихорадкой, пока я лежал в забытьи, рожденным солнечным ударом и бредом в открытой лодке после бегства с немецкого военного корабля. Так я спрашиваю себя, однако ответом на вопрос всегда является отвратительное и яркое видение. Я не могу представить себе открытого моря, не пожившись при мысли

о тех безымянных тварях, которые в этот самый момент могут ползать и рыться на его илистом дне, почитая своих древних каменных идолов и высекая собственные отвратительные подобиya на подводных обелисках из омытого водой гранита. И мне все мнится тот день, когда они восстанут над прибрежными бурунами, чтобы унести в своих вонючих когтях остатки ничтожного, утомленного войной человечества, — тот день, когда потонет суша, а мрачное океанское дно восстанет посреди вселенского пандемониума.

Конец близок. Я слышу шум возле двери, какое-то склизкое тело всей своей тушей наваливается на него. Тварь отыщет меня. Боже, какая ручища! Окно! Окно!

БЕЗЫМЯННЫЙ ГОРОД

Я знал, что над безымянным городом, к которому я приближался, тяготеет проклятие. Я ехал по выжженной, залитой лунным светом долине и уже различал вдалеке очертания городских строений, что выступали из песка, словно трупы из плохо засыпанных могил. Искрошившиеся от времени камни этого пережитка прошлого, прадеда древнейших пирамид, как будто источали страх. Ужас, встававший у меня на пути невидимой преградой, замедлял поступь моего верблюда; мне казалось, некто убеждает меня отступить, не доискиваться зловещих тайн, которые не открывались никому и никогда.

Безымянный город располагался в самом сердце Аравийской пустыни, его полуразрушенные стены были теперь немногим выше песчаных дюн. Он погиб еще до того, как были заложены первые камни Мемфиса или обожжены первые кирпичи Вавилона. Не существует предания столь древнего, что могло бы поведать о его названии или о той поре, когда в нем кипела жизнь. Однако

слухи об этом городе передаются шепотом из уст в уста у костров простолюдинов и в шатрах шейхов, и кочевники сторонятся его, не зная сами почему. Именно о нем безумный поэт Абдула Альхазред грезил той ночью, когда сложил свой исполненный темного смысла стих:

Над чем не властен тлен, то не мертво,
Смерть ожидает смерть, верней всего.

Мне следовало бы знать, что у арабов есть веские основания обходить безымянный город стороной. О, этот город, породивший множество легенд! Никто из людей не может похвалиться тем, что видел его воочию. Да, мне следовало бы послушать арабов, однако я пренебрег их советами и, оседлав верблюда, отправился в пустыню. И добился своего: я единственный зрел безымянный город, и оттого на лице моем навеки запечатлелся страх, оттого я вздрагиваю, когда по ночам хлопает ставнями ветер. Я набрел на него, застывшего в ненарушимой тишине бесконечного сна; он явился мне в холодных лучах луны среди пышущей жаром пустыни. Глядя на него, я понял: моя радость от того, что поиски увенчались успехом, куда-то улетучилась; я расседлал верблюда и решил дожидаться рассвета.

Час проходил за часом. Наконец небо на востоке посерело, звезды померкли в свечении розовой полосы с золотой каймой. И тут я услышал стон. Должно быть, несмотря на то, что небосвод был чистым, а в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, мне угрожала опасность быть застигнутым

песчаной бурей. Внезапно над дальним краем пустыни возникла ослепительная кромка солнечного диска. На какое-то мгновение его заволокло взвихренным песком, и мне, в моем смятенном состоянии, почудилось, будто из неведомых глубин донесся мелодичный звон. Он словно приветствовал светило, подобно Мемнону на нильских берегах. Кое-как обуздав разыгравшееся воображение, я повел верблюда к городу, который не видел никто, кроме меня.

Я долго бродил по развалинам, не находя ни изваяний, ни надписей, которые рассказали бы мне о тех людях — людях ли? — что построили в незапамятные годы этот город и жили в нем. В самой древности места было нечто нездоровое, и мне хотелось отыскать хотя бы одно свидетельство того, что этот город — творение человеческих рук. Его руины отличались такими пропорциями и размерами, что показались мне поистине странными, если не сказать больше. Я прихватил с собой кое-какой инструмент, а потому принялся за раскопки внутри обвалившихся зданий. На первых порах ничего интересного мне не попадалось. Потом, вместе с лунной ночью, возвратился холодный ветер; он принес с собой страх, и я не осмелился остаться на ночевку в пределах городских стен. Только я пересек незримую границу, за моей спиной взвился и пронесся по серым камням смерч, который взялся неизвестно откуда — ведь на небе ярко светила луна, а пустыня хранила величественный покой.

Проснулся я на рассвете и с немалым облегчением, ибо ночь напролет меня донимали кошмары. В голове моей звучал металлический звон.